## Сергей Есенин

Автор: *Горький М.*

В седьмом или восьмом году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который, каким-то случаем, попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда наконец почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился.

Незатейливый рассказ этот напомнила мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 году1, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком пятнадцати — семнадцати лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне: она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге. Такие чистенькие мальчики — жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции — детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия». Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот 6 самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью, на Симеоновском и видел, как он, сквозь зубы, плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом. Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого2. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то, вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит — что именно забыто им. Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков. — Тоже поэт, — сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой. Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы». Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню — было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно, и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода. У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости. Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка. Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, 7 как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта: Хорошо бы, на стог улыбаясь, Мордой месяца сено жевать!3 Что могут сказать ей такие горестные его усмешки: Я хожу в цилиндре не для женщин — В глупой страсти сердце жить не в силе — В нем удобней, грусть свою уменьшив, Золото овса давать кобыле4. Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания: Излюбили тебя, измызгали...5 И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха. Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова: Что ты смотришь так синими брызгами? Иль в морду хошь? ...Дорогая, я плачу, Прости... прости... Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными. Сумасшедшая, бешеная кровавая муть! Что ты? Смерть? 8 Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника: Я хочу видеть этого человека! И великолепно был передан страх: Где он? Где? Неужель его нет? Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно — под ноги себе, другое — далеко, третье — в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза — все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час. Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный: Вы с ума сошли? — громко и гневно, затем тише, но еще горячей: Вы с ума сошли? И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии: Вы с ума сошли? Кто сказал вам, что мы уничтожены? Неописуемо хорошо спросил он: Неужель под душой так же падаешь, как под ношею? 9 И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально: Дорогие мои... Хор-рошие... Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он — думаю — и не нуждался в них. Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят. — Если вы не устали... — Я не устаю от стихов, — сказал он и недоверчиво спросил: — А вам нравится о собаке? Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных. — Да, я очень люблю всякое зверье, — молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя6, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки: Покатились глаза собачьи Золотыми звездами в снег — на его глазах тоже сверкнули слезы. После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей»\*, любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта. А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать: — Куда-нибудь в шум, — сказал он. Решили: вечером ехать в Луна-парк. 10 Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин. — Очень хороши рошен, — растроганно говорила она. — Такой — ух! Не бывает... Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал: — Не смей целовать чужих! Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими. Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно было назвать «музыкой для толстых». — Настроили — много, а ведь ничего особенного не придумали, — сказал Есенин и сейчас же прибавил: — Я не хаю. Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать». — Короткие слова всегда лучше многосложных, — сказал он. Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо: — Вы думаете, мои стихи — нужны? И вообще искусство, то есть поэзия — нужна? Вопрос был уместен как нельзя больше, — Луна-парк забавно живет и без Шиллера. Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив: — Пойдемте вино пить. На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людями, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось: — Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского. 11 Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль: там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал: — Всё хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А — вы? Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или «из приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу. <1926>